



Гайто Газданов

Ночные дороги

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=151935

*Газданов Г. Ночные дороги : роман: Иностранка, Азбука-Аммикус; Москва; 2014
ISBN 978-5-389-08772-9*

Аннотация

Гайто Газданов принадлежит к тому кругу русских писателей, которых в России долгое время не знали и не читали. Примкнув после революции к белому движению, он так и не вернулся на родину, разделив судьбу многих русских эмигрантов. Живя в Париже, работал портовым грузчиком, мойщиком паровозов, рабочим, шофером такси. Свои первые рассказы Г. Газданов публиковал в парижском журнале «Воля России», а его первый роман, сразу принесший успех, вышел в Париже в 1929 году. Раннего Газданова сравнивали с Прустом, Достоевским и Кафкой, позднего – с Альбером Камю, Жюльеном Грином и Марио Сольдати. После войны Газданов долгие годы работал на радио «Свобода», его передачи о классической и современной русской литературе собирали сотни слушателей. Его роман «Ночные дороги» (1941) – это не только выдающееся произведение литературы, но и одно из немногих подлинно правдивых свидетельств реальных событий и духовной истории русской эмиграции.

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

30

Гайто Газданов

Ночные дороги

Посвящается моей жене

Несколько дней тому назад во время работы, глубокой ночью, на совершенно безлюдной в эти часы площади Св. Августина я увидел маленькую тележку, типа тех, в которых обычно ездят инвалиды. Это была трехколесная тележка, устроенная как передвижное кресло; впереди торчало нечто вроде руля, который нужно было раскачивать, чтобы привести в движение цепь, соединенную с задними колесами. Тележка с удивительной медленностью, как во сне, обогнула круг светящихся многоугольников и стала подниматься по бульвару Османн. Я приблизился, чтобы лучше ее рассмотреть; в ней сидела закутанная, необыкновенно маленькая старушка; видно было только ссохшееся, темное лицо, уже почти нечеловеческое, и худенькая рука такого же цвета, с трудом двигавшая руль. Я видел уже неоднократно людей, похожих на нее, но всегда днем. Куда могла ехать ночью эта старушка, почему она оказалась здесь, какая могла быть причина этого ночного переезда, кто и где мог ее ждать?

Я смотрел ей вслед, почти задыхаясь от сожаления, сознания совершенной непоправимости и острого любопытства, похожего на физическое ощущение жажды. Я, конечно, не узнал о ней решительно ничего. Но вид этого удаляющегося инвалидного кресла и медленный его скрип, отчетливо слышимый в неподвижном и холодном воздухе этой ночи, вдруг пробудил во мне то ненасытное стремление непременно узнать и попытаться понять многие чужие мне жизни, которое в последние годы почти не оставляло меня. Оно всегда было бесплодно, так как у меня не было времени, чтобы посвятить себя этому. Но сожаление, которое я испытывал от сознания этой невозможности, проходит через всю мою жизнь. Позже, когда я думал об этом, мне начинало казаться, что это любопытство было, в сущности, непонятным влечением, потому что оно упиралось в почти непреодолимые препятствия, происходившие в одинаковой степени от материальных условий и от природных недостатков моего ума и еще оттого, что всякому сколько-нибудь отвлеченному постижению мне мешало чувственное и бурное ощущение собственного существования. Кроме того, я упорно не мог понять страстей или увлечений, которые мне лично были чужды; мне, например, приходилось каждый раз делать над собой большое усилие, чтобы не считать всякого человека, с незащитной и слепой страстью проигрывающего или пропивающего все свои деньги, просто глупцом, не заслуживающим ни сочувствия, ни сожаления, — потому что, в силу случайности, я не выносил алкоголя и смертельно скучал за картами. Так же я не понимал донжуанов, переходящих всю жизнь из одних объятий в другие, — но это по другой причине, которой я долго не подозревал, пока у меня не хватило мужества продумать это до конца, и тогда я убедился, что это была зависть, тем более удивительная, что во всем остальном я был совершенно лишен этого чувства. Возможно, что и в других случаях, если бы произошло какое-то неуловимое изменение, оказалось бы, что те страсти, которых я не понимал, тоже стали бы мне доступны, и я также подвергся бы их разрушительному действию, и на меня с таким же сожалением смотрели бы другие, чуждые этим страстям люди. И то, что я их не испытывал, было, быть может, всего лишь проявлением инстинкта самосохранения, более сильного во мне, по-видимому, чем в тех моих знакомых, которые проигрывали свои жалкие заработки на скачках или пропивали их в бесчисленных кафе.

Но бескорыстному моему любопытству ко всему, что окружало меня и что мне с дикарской настойчивостью хотелось понять до конца, мешал, помимо всего остального, недостаток свободного времени, происходивший, в свою очередь, оттого, что я всегда жил в

глубокой нищете и заботы о пропитании поглощали все мое внимание. Однако это же обстоятельство дало мне относительное богатство поверхностных впечатлений, какого у меня не было бы, если бы моя жизнь протекала в иных условиях. У меня не было предвзятого отношения к тому, что я видел, я старался избегать обобщений и выводов, но, помимо моего желания, вышло так, что два чувства овладевают мною сильнее всего, когда я думаю об этом, — презрение и жалость. Сейчас, вспоминая этот печальный опыт, я полагаю, что я, может быть, ошибался и эти чувства были напрасны. Но их существование в течение долгих лет не могло быть ничем преодолено, и оно теперь так же непоправимо, как непоправима смерть, и я не мог бы от них отказаться; это было бы такой же душевной трусостью, как если бы я отказался от сознания того, что глубоко во мне жила несомненная и непонятная жажда убийства, полное презрение к чужой собственности и готовность к измене и разврату. И привычка оперировать воображаемыми, никогда не происходившими — по-видимому, в силу множества случайностей — вещами сделала для меня эти возможности более реальными, чем если бы они происходили в действительности; и все они обладали особенной соблазнительностью, несвойственной другим вещам. Нередко, возвращаясь домой после ночной работы по мертвым парижским улицам, я подробно представлял себе убийство, все, что ему предшествовало, все разговоры, оттенки интонаций, выражение глаз — и действующими лицами этих воображаемых диалогов могли оказаться мои случайные знакомые, или почему-либо запомнившиеся прохожие, или, наконец, я сам в качестве убийцы. В конце таких размышлений я приходил обычно к одному и тому же полующущему-полувыводу, это была смесь досады и сожаления по поводу того, что на мою долю выпал такой неутешительный и ненужный опыт и что в силу нелепой случайности мне пришлось стать шофером такси. Все или почти все, что было прекрасного в мире, стало для меня точно наглухо закрыто — и я остался один, с упорным желанием не быть все же захлестнутым той бесконечной и безотрадной человеческой мерзостью, в ежедневном соприкосновении с которой состояла моя работа. Она была почти сплошной, в ней редко было место чему-нибудь положительному, и никакая гражданская война не могла сравниться по своей отвратительности и отсутствию чего-нибудь хорошего с этим мирным, в конце концов, существованием. Конечно, это объяснялось еще и тем, что население ночного Парижа резко отличалось от дневного и состояло из нескольких категорий людей, по своей природе и профессии чаще всего уже заранее обреченных. Но, кроме того, в отношении этих людей к шоферу всегда отсутствовали сдерживающие причины — не все ли равно, что подумает обо мне человек, которого я больше никогда не увижу и который никому из моих знакомых не может об этом рассказать? Таким образом, я видел моих случайных клиентов такими, какими они были в действительности, а не такими, какими они хотели казаться, — и это соприкосновение с ними, почти всякий раз, показывало их с дурной стороны. При самом беспристрастном отношении ко всем, я не мог не заметить, что разница между ними была всегда невелика, и в этом оскорбительном уравнении женщина в балльном туалете, живущая на avenue Henri Martin, немногим отличалась от ее менее удачливой сестры, ходившей по тротуару, как часовой, от одного угла до другого; и люди почтенного вида на Passy и Auteuil так же униженно торговались с шофером, как выпивший рабочий с rue de Belleville; и доверять никому из них было нельзя, я в этом неоднократно убеждался.

Я помню, как в начале шоферской работы я остановился однажды у тротуара, привлеченный стоном довольно приличной дамы лет тридцати пяти с распухшим лицом, она стояла, прислонившись к тротуарной тумбе, стонала и делала мне знаки; когда я подъехал, она попросила меня прерывающимся голосом отвезти ее в госпиталь; у нее была сломана нога. Я поднял ее и уложил в автомобиль; но когда мы приехали, она отказалась мне платить и заявила вышедшему человеку в белом халате, что я своим автомобилем сбил ее и что, падая, она сломала ногу. И я не только не получил денег, но еще и рисковал быть обвиненным в том, что называется невольным убийством. К счастью, человек в белом халате отнесся к ее

словам скептически, и я поспешил уехать. И впоследствии, когда мне делали знаки люди, стоящие над чьим-нибудь распростертым на тротуаре телом, я только сильнее нажимал на акселератор и проезжал, никогда не останавливаясь. Человек в прекрасном костюме, вышедший из гостиницы Клэридж, которого я отвез на Лионский вокзал, дал мне сто франков, у меня не было сдачи; он сказал, что разменяет их внутри, ушел – и больше не вернулся; это был почтенный седой человек с хорошей сигарой, напоминавший по виду директора банка, и очень возможно, что действительно директор банка.

Однажды, после очередной клиентки, в два часа ночи, я осветил автомобиль и увидел, что на сиденье лежит женская грелка с вправленными в нее бриллиантами, по всей вероятности фальшивыми, но вид у нее был, во всяком случае, роскошный; мне было лень слезать, я решил, что возьму эту грелку позже. В это время меня остановила дама – это было на одной из авеню возле Champs de Mars – в собольей *sortie de bal*¹; она поехала на авеню Foch; после ее ухода я вспомнил о грелке и посмотрел через плечо. Грелки не было, дама в *sortie de bal* украла ее так же, как это сделала бы горничная или проститутка.

Я думал об этом и о многих других вещах почти всегда в одни и те же утренние часы. Зимой было еще темно, летом светло в это время, и никого уже не было на улицах; очень редко встречались рабочие – безмолвные фигуры, которые проходили и исчезали. Я почти не смотрел на них, так как знал наизусть их внешний облик, как знал кварталы, где они живут, и другие, где они никогда не бывают. Париж разделен на несколько неподвижных зон; я помню, что один из старых рабочих – я был вместе с ним на бумажной фабрике возле бульвара de la Gare – сказал мне, что за сорок лет пребывания в Париже он не был на Елисейских Полях, потому что, объяснил он, он там никогда не работал. В этом городе еще была жива – в бедных кварталах – далекая психология, чуть ли не четырнадцатого столетия, рядом с современностью, не смешиваясь и почти не сталкиваясь с ней. И я думал иногда, разъезжая и попадая в такие места, о существовании которых я не подозревал, что там до сих пор происходит медленное умирание Средневековья. Но мне редко удавалось сосредоточиться на одной мысли в течение более или менее продолжительного времени, и после очередного поворота руля узкая улица исчезала и начиналось широкое авеню, застроенное домами со стеклянными дверьми и лифтами. Эта беглость впечатлений нередко утомляла внимание, и я предпочитал закрывать глаза и не думать ни о чем. Никакое впечатление, никакое очарование не могло быть длительным при этой работе – и только потом я старался вспомнить и разобрать то, что мне удалось увидеть за очередную ночную поездку из подробностей того необыкновенного мира, который характерен для ночного Парижа. Всегда, каждую ночь, я встречал нескольких сумасшедших; это были чаще всего люди, находящиеся на пороге сумасшедшего дома или больницы, алкоголики и бродяги. В Париже много тысяч таких людей. Я заранее знал, что на такой-то улице будет проходить такой-то сумасшедший, а в другом квартале будет другой. Узнать о них что-либо было чрезвычайно трудно, так как то, что они говорили, бывало обычно совершенно бессвязно. Иногда, впрочем, это удавалось.

Я помню, что одно время меня особенно интересовал маленький невзрачный человек с усиками, довольно чисто одетый, похожий по виду на рабочего и которого я видел примерно каждую неделю или каждые две недели, около двух часов ночи, всегда в одном и том же месте на *avenue de Versailles*, на углу, напротив моста Гренель. Он обычно стоял на мостовой, возле тротуара, грозил кому-то кулаками и бормотал едва слышно ругательства. Я мог только разобрать, как он шептал: *сволочь!.. сволочь!..* Я знал его много лет – всегда в одни и те же часы, всегда на одном и том же месте. Я заговорил наконец с ним, и после долгих расспросов мне удалось выяснить его историю. Он был по профессии плотник, жил где-то возле Версаля, в двенадцати километрах от Парижа, и мог приезжать сюда поэтому

¹ Женская вечерняя накидка (*фр.*).

только раз в неделю, в субботу. Шесть лет тому назад он вечером повздорил с хозяином кафе, которое находилось напротив, и хозяин ударил его по физиономии. Он ушел и с тех пор затаил против него смертельную ненависть. Каждую субботу он приезжал вечером в Париж; и так как он очень боялся этого ударившего его человека, то он ждал, пока закроется его кафе, пил, набираясь храбрости, в соседних бистро один стакан за другим, и когда наконец его враг закрывал свое заведение, тогда он приходил к этому месту, грозил незримому хозяину кулаком и шепотом бормотал ругательства; но он был так напуган, что никогда не осмеливался говорить полным голосом. Всю неделю, работая в Версале, он с нетерпением ждал субботы, потом одевался по-праздничному и ехал в Париж, чтобы ночью, на пустынной улице, произносить свои едва слышные оскорбления и грозить в направлении кафе. Он оставался на авеню Версаль до рассвета – и потом уходил по направлению к порт Сен-Клу, время от времени останавливаясь, оборачиваясь и помахивая маленьким сухим кулаком. Я зашел потом в кафе, которое держал его обидчик, застал там пышную рыжую женщину за прилавком, которая пожаловалась на дела, как всегда. Я спросил ее, давно ли она держит это кафе, оказалось, что три года, она переехала сюда после смерти его прежнего владельца, который умер от апоплексического удара.

Около четырех часов утра я обычно ехал выпить стакан молока в большое кафе против одного из вокзалов, где знал всех решительно, начиная с хозяйки, старой дамы, с трудом жевавшей сэндвич вставными зубами, до маленькой пожилой женщины в черном, которая не расставалась с большой клеенчатой сумкой для провизии, она постоянно таскала ее за собой; ей было лет пятьдесят. Она обычно тихо сидела в углу, и я недоумевал, что она здесь делает в эти часы: она была всегда одна. Я спросил об этом у хозяйки: хозяйка ответила, что эта женщина работает, как другие. В первое время такие вещи удивляли меня, но потом я узнал, что даже очень пожилые и неряшливые женщины имеют свою клиентуру и нередко зарабатывают не хуже других. В эти же часы появлялась смертельно пьяная худая старуха с беззубым ртом, которая входила в кафе и кричала: – Ни черта! – и потом, когда нужно было платить за стакан белого вина, которое она пила, она неизменно удивлялась и говорила гарсону: – Нет, ты перегибаешь. – У меня создалось впечатление, что других слов она вообще не знала, во всяком случае, она никогда их не произносила. Когда она приближалась к кафе, кто-нибудь, оборачиваясь, говорил: – Вот идет Ни черта. – Но однажды я застал ее в разговоре с каким-то мертвецки пьяным оборванцем, который крепко держался двумя руками за стойку и покачивался. Она говорила ему – такими неожиданными в ее устах словами: – Я тебе клянусь, Роже, что это правда. Я тебя любила. Но когда ты в таком состоянии... – И потом, прервав этот монолог, она снова закричала: ни черта! Затем она исчезла в один прекрасный день, в последний раз прокричав: ни черта! – и больше никогда не появлялась; несколько месяцев спустя, заинтересовавшись ее отсутствием, я узнал, что она умерла.

Раз в два в неделю в это кафе являлся человек в берете, с трубкой, которого называли m-г Мартини, потому что он всегда заказывал мартини, это происходило обычно в одиннадцатом часу вечера. Но в два часа ночи он был уже совершенно пьян, поил всех, кто хотел, и в три часа, истратив деньги – обычно около двухсот франков, – он начинал просить хозяйку отпустить ему еще один мартини в кредит. Тогда его обычно выводили из кафе. Он возвращался, его снова выводили, и потом гарсоны просто не пускали его. Он возмущался, пожимал покатыми плечами и говорил:

– Я нахожу, что это смешно. Смешно. Смешно. Все, что я могу сказать.

Он был преподавателем греческого, латинского, немецкого, испанского и английского языков, жил за городом, у него была жена и шесть душ детей. В два часа ночи он излагал философские теории своим слушателям, обычно сутенерам или бродягам, и ожесточенно с ними спорил; они смеялись над ним, помню, что они особенно хохотали, когда он наизусть читал им шиллеровскую «Перчатку» по-немецки, их забавляло, конечно, не содержание, о

котором они не могли догадаться, а то, как смешно звучит немецкий язык. Я несколько раз отводил его в сторону и предлагал ему ехать домой, но он неизменно отказывался, и все мои доводы не оказывали на него никакого действия; он был, в сущности, доволен собой и, к моему удивлению, очень горд, что у него шесть человек детей. Однажды, когда он был еще наполовину трезв, у меня был с ним разговор; он упрекал меня в буржуазной морали, и я, рассердившись, закричал ему:

– Разве вы не понимаете, черт возьми, что вы кончите больничной койкой и белой горячкой и ничто вас от этого уже не может удержать?

– Вы не постигаете сущности галльской философии, – отвечал он.

– Что? – сказал я с изумлением.

– Да, – повторил он, набивая трубку, – жизнь дана для удовольствия.

Только тогда я заметил, что он пьянее, чем мне показалось сначала; оказалось, что в этот день он явился часом раньше, чем всегда, чего я не мог учесть.

С годами его сопротивляемость алкоголю уменьшилась, так же как его ресурсы, его вообще перестали пускать в кафе; и в последний раз, когда я его видел, гарсоны и сутенеры стравливали его с каким-то бродягой, стремясь вызвать между ними драку, потом их толкнули обоих, они упали, и m-г Мартини покатился по тротуару, затем на мостовую, где и остался лежать некоторое время, – под зимним дождем, в жидкой ледяной грязи.

– Это, если мне не изменяет память, вы называете галльской философией, – сказал я, поднимая его.

– Смешно. Смешно. Очень смешно – все, что я могу сказать, – повторял он, как попугай.

Я усадил его за столик.

– У него нет денег, – сказал мне гарсон.

– Если бы только это! – ответил я.

M-г Мартини вдруг протрезвился.

– В каждом случае алкоголизма есть какое-то основание, – сказал он неожиданно.

– Может быть, может быть, – рассеянно ответил я. – Но вы, например, отчего вы пьете?

– От огорчения, – сказал он. – Моя жена презирует меня, она научила моих детей презирать меня, и единственный смысл моего существования для них – это что я даю им деньги. Я не могу этого вынести и вечером ухожу из дому. Я знаю, что все потеряно.

Я смотрел на его залитый грязью костюм, ссадины на лице, сиротливые маленькие глаза под беретом.

– Я думаю, что уже ничего нельзя сделать, – сказал я.

Я знал в этом кафе всех женщин, проводивших там долгие часы. Среди них бывали самые разнообразные типы, но они сохраняли свою индивидуальность только в начале карьеры, затем, через несколько месяцев, усвоив профессию, становились совершенно похожими на всех других. Большинство было из горничных, но бывали исключения – продавщицы, стенографистки, довольно редко кухарки и даже одна бывшая владелица небольшого гастрономического магазина, историю которой знали все: она застраховала его на крупную сумму, потом подожгла, и так неловко, что страховое общество отказалось ей заплатить; в результате магазин сгорел, а денег она не получила. И тогда они с мужем решили, что она будет пока что работать именно таким образом, а потом они опять что-нибудь откроют. Это была довольно красивая женщина лет тридцати; но ремесло это настолько захватило ее, что уже через год разговоры о том, что она опять откроет магазин, совершенно прекратились, тем более что она нашла постоянного клиента, почтенного и обеспеченного человека, который делал ей подарки и считал своей второй женой; он выходил с ней в субботу и в среду вечером, два раза в неделю, и потому в эти дни она не работала. Моей постоянной соседкой по стойке была Сюзанна, маленькая и густо раскрашенная белокурая женщина, очень

склонная к особенно роскошным платьям, браслетам и кольцам; один передний зуб в верхней челюсти она сделала себе золотым, и это так нравилось ей, что она поминутно смотрелась в свое маленькое зеркальце, по-собачьи поднимая верхнюю губу.

– Красиво все-таки, – сказала она однажды, обратившись ко мне, – не правда ли?

– Я нахожу, что глупее не бывает, – сказал я.

С тех пор она стала относиться ко мне с некоторой враждебностью и изредка задевала меня. Особенное ее презрение вызывало то, что я пил всегда молоко.

– Ты все молоко пьешь, – сказала она мне дня через три, – не хочешь ли моего?

Она очень любила перемены, иногда пропадала на несколько дней – это значило, что она работала в другом районе, потом однажды исчезла на целый месяц, и когда я спросил гарсона, не знает ли он, что с ней стало, он ответил, что она устроилась на постоянное место. Он сказал иначе, именно, что у нее теперь постоянное положение, – и оказалось, что она поступила в самый большой публичный дом Монпарнаса. Но она и там не удержалась, ей нигде не сиделось. Она была еще очень молода, ей было двадцать два или двадцать три года.

За кассой, каждую ночь, с восьми часов вечера до шести часов утра, сидела сама хозяйка этого кафе, которое стоило несколько миллионов. В течение тридцати лет она спала днем и работала ночью; днем ее заменял муж, почтенный старик в хорошем костюме. У них не было детей, не было даже, кажется, близких родственников, и всю свою жизнь они посвятили этому кафе, как другие посвящают ее благотворительности, или служению Богу, или государственной карьере; никуда не ездили, никогда не отдыхали. Впрочем, однажды хозяйка не работала около двух месяцев – у нее была язва желудка, она пролежала это время в кровати. У нее давно было очень крупное состояние, но оставить работу она не могла. По внешнему виду она походила на любезную ведьму. Я разговаривал с ней несколько раз, и она рассердилась на меня однажды, когда я ей сказал, что ее жизнь, в сущности, так же загублена, как жизнь m-г Мартини. – Как же вы можете меня сравнивать с этим алкоголиком? – И я вспомнил, с некоторым опозданием, что людей, способных понимать скольконибудь беспристрастное суждение, особенно касающееся их лично, существует ничтожнейшее меньшинство, может быть, один на сто. Самой мадам Дюваль ее жизнь казалась законченной и полной определенного смысла – и в какой-то степени это было верно, она была действительно законченной и даже совершенной по своей полной бесполезности. Теперь предпринимать что бы то ни было было уже слишком поздно. Но она никогда не согласилась бы с этим. – Вот, мадам, когда вы умрете... – хотел я сказать, но удержался, решив, что из-за отвлеченного, в сущности, вопроса не стоит портить с ней отношений. И я сказал, что, может быть, я ошибаюсь и что мне так кажется потому, что сам я чувствовал бы себя неспособным к такому тридцатилетнему подвигу. Она смягчилась и ответила, что, конечно, далеко не всякий может это сделать, но что зато она теперь уверена в одном: конец своей жизни она проживет спокойно – так, как будто теперешний ее возраст, ее последние шестьдесят три года были не концом, а началом ее жизни. Я мог ей многое возразить и на это, но промолчал.

Позднее я понял, что она ни в какой степени не была исключением, ее пример был чрезвычайно характерен; я знал миллионеров с грязными руками, трудившихся по шестнадцати часов в день, старых шоферов, у которых были доходные дома и земли и которые, несмотря на одышку, изжогу, геморрой и вообще почти отчаянное состояние здоровья, все же продолжали работать из-за лишних тридцати франков в день; и если бы их чистый заработок опустился до двух франков, они все равно работали бы до тех пор, пока в один прекрасный день не могли бы встать с кровати, и это был бы их кратковременный отдых перед смертью. Один из гарсонов этого кафе был тоже замечателен: это был счастливый человек. Я узнал это однажды, во время короткого философского разговора, который начал какой-то пожилой мужчина неопределенного вида, кажется бывший шофер. Он заговорил о лотерее и

сказал, что она похожа на Солнце: как Солнце вращается вокруг Земли, так крутится колесо лотереи.

– Солнце не вращается вокруг Земли, – сказал я ему, – это неточно; и лотерея не похожа на Солнце.

– Солнце не вращается вокруг Земли? – спросил он иронически. – А кто тебе это сказал?

Он говорил совершенно серьезно; тогда я его спросил, грамотен ли он вообще, и он обиделся на меня и все пытался узнать, откуда у меня могут быть более достоверные сведения о небесной механике. Авторитета ученых он не признавал и уверял, что они знают не больше нас. Тут в разговор вмешался гарсон, который сказал, что все это не важно, а важно, чтобы человек был счастлив.

– Я никогда таких людей не видел, – сказал я.

И тогда он с некоторой торжественностью в голосе ответил, что мне наконец представляется эта возможность, потому что в данную минуту я вижу счастливого человека.

– Как? – сказал я с изумлением. – Вы считаете себя совершенно счастливым человеком?

Он объяснил мне, что это именно так: оказывается, у него всегда была мечта – работать и зарабатывать на жизнь – и она осуществлена: он совершенно счастлив. Я внимательно на него посмотрел: он стоял в своем синем переднике, с засученными рукавами, за влажной цинковой стойкой; сбоку слышался голос Мартини, – смешно, смешно, смешно, – справа кто-то хрипло говорил: – Я тебе говорю, что это мой брат, понимаешь? – Рядом с моим собеседником, который был убежден во вращении Солнца вокруг Земли, толстая женщина – белки ее глаз были покрыты густой сетью красных жилок – объясняла своему покровителю, что она не может работать в этом районе: – Не нахожу и не нахожу. – И в центре всего этого стоял гарсон Мишель; и желтое его лицо было действительно счастливо. – Ну, милый мой, поздравляю, – сказал я ему.

И уже уехав оттуда, я все вспоминал его слова: «У меня всегда была одна мечта, всегда: зарабатывать на жизнь». Это было еще более печально, пожалуй, чем Мартини, или мадам Дюваль, или толстая Марсель, которая не находила клиентов на Монпарнасе; и ее дела были действительно плохи, пока какой-то догадливый человек не сказал ей, что ее красота несомненно будет оценена в другом районе, с менее рафинированной клиентурой, именно на Центральном рынке; и она действительно стала работать там; через полгода я видел ее в одном кафе бульвара Севастополь, она еще больше раздобрела и была гораздо лучше одета. Я рассказал о счастливом гарсоне одному из моих алкогольных собеседников, которого прозвище было Платон – за склонность к философии: это был еще не старый человек, проводивший каждую ночь в этом кафе, у стойки, за очередным стаканом белого вина. Подобно Мартини, он окончил университет, жил одно время в Англии, был женат на красавице, был отцом прекрасного мальчика и обеспеченным человеком; я не знаю, как и почему все это очень быстро отошло в прошлое, но он оставил семью, родственники от него отказались, и он остался один. Это был милый и вежливый человек; он был довольно образован, он знал два иностранных языка, литературу и в свое время готовил даже философскую тезу, не помню точно какую, чуть ли не о Бёме; и только в последнее время память его стала сдавать и губительные последствия алкоголя начали сказываться на нем достаточно явственно – чего не было в первые годы нашего знакомства. Жил он на очень незначительную сумму денег, которые ему тайком давала его мать, – и этого хватало только на один сандвич в день и белое вино.

– А ваша квартира? – спросил я как-то.

Он пожал плечами и ответил, что он за нее вообще не платит и что, когда хозяин пригрозил ему репрессиями, Платон ответил, что если тот что-нибудь против него предпримет, то он подожжет шнурок от патрона с динамитом и взорвет дом и таким образом, в некотором

роде, пойдет навстречу требованиям хозяина – который жил там же, – потому что после этого ему уже никогда не придется заботиться о какой бы то ни было квартирной плате какого бы то ни было из своих жильцов. Платон рассказывал это тихим голосом, совершенно спокойно, но с такой непоколебимой искренностью и уверенностью, что я ни на минуту не усомнился в его готовности это сделать. Самым странным, однако, мне казалось, что Платон имел архаические, но очень твердые убеждения государственного порядка, все должно было основываться, по его словам, на трех принципах: религия, семейный очаг, король. – А алкоголизм? – спросил я, не удержавшись. Он совершенно спокойно ответил, что это второстепенная и даже необязательная подробность. – Вот вы, например, не пьете, – сказал он, – но это мне не мешает вас рассматривать как нормального человека; конечно, жаль, что вы не француз, но это не ваша вина. – К счастливому гарсону он отнесся скептически и сказал, что к таким примитивным существам неприменимы наши представления о счастье; но он допускал, что по-своему гарсон мог быть счастлив – как собака, или птица, или обезьяна, или носорог, – под утро Платон начинал говорить вещи несуразные; это был удивительный по своему неожиданному спокойствию бред, но понятия его путались, он сравнивал Гамлета с Пуанкаре и Вертера с тогдашним министром финансов, который был толстым стариком, идеально далеким от какого бы то ни было сходства с Вертером в каком бы то ни было отношении. Я знал наружность этого министра, потому что как-то стоял со своим автомобилем в очереди у сената, в котором происходило ночное заседание, и все мои товарищи надеялись, что будут развозить сенаторов; был уже пятый час утра. Но в последнюю минуту во двор сената въехали несколько автобусов, на которых сенаторы отбыли домой. Когда последний автобус с надписью «цена проезда 3 франка» уже отходил, из двора сената вышел министр финансов и, увидя отходящий автобус, побежал за ним сколько было сил; я не мог удержаться от смеха, но мои товарищи ругали его последними словами за скупость. С той ночи я хорошо запомнил – я видел его тогда совсем вблизи – его фигуру, живот, одышку, расстегнутую шубу, в которой он был тогда, и беспокойно-тупое выражение его лица.

Я разговаривал с Платоном о счастливом гарсоне в ночь с субботы на воскресенье. Это бывала самая беспокойная ночь в неделю; в кафе появлялись совершенно неожиданные посетители, большинство было пьяных. Унылый старик с седыми усами пел срывающимся голосом бретонские песни; двое бродяг спорили по поводу какого-то прошлогоднего, насколько я понял, инцидента; одна из постоянных посетительниц кафе, женщина удивительной некрасивости, с плоским лягушачьим лицом, но считавшаяся хорошей работницей, говорила, приблизившись вплотную к пятидесятилетнему человеку с Почетным легионом, – ее кто-то напоил в эту ночь: – Ты должен же меня понять, ты должен же меня понять. – И слушавший ее совершенно посторонний мужчина, особенного типа энергичного пьяницы, наконец не выдержал и сказал: – Нечего тут понимать, ты просто стерва и больше ничего. – Какой-то худощавый пожилой человек с выражением неподдельной тревоги в глазах пробился сквозь толпу и стал просить мадам Дюваль, чтобы она разрешила ему вскарабкаться наверх, по одной из колонн кафе, – только до потолка и обратно: вы видите, мадам, я совершенно корректен; только один раз, мадам, только раз... – И плотный метрдотель вывел его из кафе и предложил ему, уже на улице, попробовать влезть на фонарный столб. Снаружи, вдоль запотевших стекол кафе, время от времени проходили два полицейских, – как тень отца Гамлета, – сказал я Платону. Потом в туманном и холодном рассвете субботние посетители кафе исчезали; мутно горели фонари над тротуарами, на поворотах скользкой мостовой шуршали шины редких автомобилей.

– Каждое утро я благодарю Господа, – сказал Платон, с которым мы вышли из кафе, – за то, что Он создал мир, в котором мы живем.

– И вы уверены, что Он действительно хорошо сделал?

– Я убежден в этом совершенно, как бы я ни был несчастен и пьян, – сказал он со своим всегдашним спокойствием.

Я проводил его до угла avenue de Maine, по дороге он говорил о Тулуз-Лотреке и Жераре де Нервале, и я сразу представил себе ужасную смерть Нерваля, маленькую и жуткую улочку возле Шатлэ, и висящее его тело, и эту, точно выдуманную чьей-то чудовищной фантазией, черную шляпу на голове повешенного.

Я имел возможность проводить иногда несколько часов в этом кафе, потому что ставил автомобиль у вокзала в ожидании первого поезда, который приходил в половине шестого утра; и от двух часов ночи до этого поезда, когда другие шоферы играли в карты или спали в машинах, я предпочитал уходить в кафе или гулять, если была хорошая погода. Только это вынужденное бездействие дало мне возможность ближе познакомиться со всеми клиентами этого кафе. Оно было почти всегда вознаграждено; каждую ночь я уходил оттуда все более и более отравленным, и мне понадобилось все-таки несколько лет для того, чтобы впервые подумать обо всех этих ночных жителях как о живой человеческой падали, – раньше я был лучшего мнения о людях и, несомненно, сохранил бы много идиллических представлений, которые теперь навсегда недоступны для меня, как если бы зловонный яд выжег во мне ту часть души, которая была предназначена для них. И эта мрачная поэзия человеческого падения, в которой я раньше находил своеобразное и трагическое очарование, перестала для меня существовать, и я полагаю теперь, что ее возникновение было основано на незнании и ошибке, которая оказалась такой непоправимой для Жерара де Нерваля, упомянутого Платоном в нашем утреннем разговоре. И люди, создавшие ее и которых тянуло туда, как их тянет смерть, лишены даже того утешения, что, умирая, они видели вещи такими, какими они были действительно и какими они их описали; их заблуждение было столь же несомненно, сколь несомненно было, что влюбленный в бывшую владелицу гастрономического магазина почтенный человек, с которым она выходила по средам и субботам, был не прав, считая ее своей второй женой.

И может быть, следовало позавидовать двум клиентам Сюанны, которых я однажды видел; оба были хорошо одеты и, по-видимому, состоятельны, и оба вошли в кафе, одинаково улыбаясь и одинаково опираясь на белые палки; они были слепые. Сюанна подсела к ним, и я со стороны смотрел на них троих и представлял себе, как должен для них из темноты звучать голос и смех Сюанны. Затем они ушли вдвоем в гостиницу, расположенную напротив, и Сюанна их бережно – потому что это были клиенты – переводила через площадь. Через час они вернулись; слепые еще остались сидеть за столиком, а Сюанна подошла к стойке и стала рядом со мной.

– Все молоко? – спросила она.

– Они не могли оценить твою красоту, – сказал я, не отвечая, – и подумать, они даже твоего золотого зуба не видели.

– Это верно, – ответила она и вдруг с неожиданным и детским любопытством в глазах сказала, что они ее, конечно, не могли видеть, но зато ощупали всю и что ей было щекотно. Проходя мимо них, я остановился на секунду; на их розовых лицах была та беззащитная и особенная улыбка, которая характерна только для слепых.

Как и в прежние периоды моей жизни, в Париже мне удавалось лишь изредка и на короткое время увидеть то, в чем я был вынужден жить, со стороны, так, как если бы я сам не участвовал в этих событиях. Это было как воспоминания о некоторых пейзажах, результатом какого-то зрительного постижения, которое потом уже навсегда оставалось в моей памяти; и как воспоминание о запахе, оно было окружено целым миром других вещей, сопутствовавших его появлению. Оно возникало обычно, не выходя из длинного ряда предыдущих видений, только прибавляясь к нему, и отсюда появлялась возможность сравнения различных и последовательных жизней, которые мне пришлось вести и которые казались мне далекими

и печальными, независимо от того, происходило ли это теперь или много лет тому назад. И тогда трагическая нелепость моего существования представляла передо мной с такой очевидностью, что только в эти минуты я отчетливо понимал вещи, о которых человек не должен никогда думать, потому что за ними идет отчаяние, сумасшедший дом или смерть. Но, как это ни странно, за такими мыслями никогда не следовала идея самоубийства, которой я был совершенно чужд, всегда, даже в самые страшные моменты моей жизни; и я знал, что ее не нужно было смешивать с тем постоянным и жгучим желанием каждый раз, когда из туннеля к платформе подходил поезд метро, отделиться на секунду от твердого каменного края перрона и броситься под поезд – таким же движением, каким с трамплина купальни я бросался в воду. Но вот прошли тысячи поездов, и каждый раз, когда я спускаюсь на платформу метро, я испытываю нелепое желание улыбнуться и сказать самому себе – здравствуйте, – в интонации которого были бы одновременно и насмешка, и уверенность в том, что все остальные поезда метрополитена так же пройдут мимо меня, как предыдущие. Это чувство – тянет сделать одно и на этот раз действительно последнее движение – я знал давно; оно же охватывало меня, когда я ехал на автомобиле вдоль хрупких перил моста через Сену и думал: еще немного нажать на акселератор, резко повернуть руль – и все кончено. И я поворачивал руль на несколько дюймов и тотчас же выправлял его, и автомобиль, дернувшись в сторону перил, выпрямлялся и продолжал свой прежний безопасный путь. А в тот раз – знойную и черную ночь в Константинополе, – когда мне грозила действительная опасность падения с шестого этажа, этого чувства у меня не было, а было непреодолимое желание спастись во что бы то ни стало. Я попал тогда в отчаянное положение. Был громадный пожар в азиатской стороне города, и из моего окна на четвертом этаже я видел только густое красное зарево; дом, в котором я жил, находился на Пера, в центре европейского квартала. Я решил подняться на крышу и довольно легко добрался туда с глухой каменной площадки, окруженной с четырех сторон стенками, высота которых доходила мне до уровня глаз. Я выбрался оттуда на черепичную, почти плоскую крышу и пошел по ней в том направлении, откуда, по моим расчетам, должен был быть хорошо виден пожар. Зарево действительно стало несколько ярче, и в нем стал проступать черный фон, но все-таки даже самого пламени нельзя было увидеть. Постояв минут десять, я пошел обратно. Была совершенно туманная ночь, не было ни звезд, ни луны, я шел наугад и не думал, что могу ошибиться. Наконец я дошел до края площадки и стал спускаться спиной вперед. Когда край крыши был на уровне моих глаз, я вытянул носки ног; но пола под ними не было. Это меня удивило, я опустился ниже, потом наконец повис на вытянутых руках, держась пальцами за черепицу, но пола опять не достал. Тогда я повернул с усилием голову вбок и посмотрел вниз: очень далеко, в страшной, как мне показалось, глубине тускло горел фонарь над мостовой; а я висел над задней глухой и совершенно ровной стеной дома, над шестиэтажной пропастью. Рубашка на мне с неправдоподобной быстротой стала влажной. Я держался за черепицу – мне сразу показалось, что она скользит и сползает, – одними пальцами и не мог рассчитывать ни на чью помощь. В первую секунду я испытал необыкновенный ужас. Затем я стал подниматься вверх. Перед этим в Греции, с одним из моих товарищей, я тренировался, чтобы поступить в цирк акробатом, и то, что для среднего человека было бы невозможным, мне было сравнительно нетрудно. Прижимаясь к стене лицом и грудью, я подтянул тело вверх, захватил черепицу уже на сгиб сначала правой, затем левой кисти, потом медленно, без того ритмического и почти необходимого толчка, который делается в гимнастических упражнениях, но которым здесь я не мог рисковать, так как секундная потеря равновесия грозила мне падением, я поднял локоть правой руки и сразу поднялся на несколько сантиметров – все остальное было уже легко; но я еще прополз по крыше некоторое расстояние, чтобы удалиться от края. Потом я без труда нашел площадку и спустился к себе в комнату: из зеркала на меня глядело мое лицо, искаженное, запачканное известкой, с совершенно чужими глазами. Это все было много лет тому назад,

но я помню этот взгляд сверху на тусклый фонарь, над неровными камнями мостовой – один из тех вечных пейзажей утопающего в глубокой ночи города, которые потом я столько раз видел в Париже. И в минуты редких и внезапных просветлений мне начинало казаться совершенно необъяснимым, почему я ночью проезжаю на автомобиле по этому громадному и чужому городу, который должен был бы пролететь и скрыться, как поезд, но который я все не мог проехать, – точно спишь, и силишься, и не можешь проснуться. Это было почти такое же мучительное ощущение, как невозможность избавиться от груза воспоминаний; в противоположность большинству моих знакомых я почти ничего не забывал из того, что видел и чувствовал; и множество вещей и людей, из которых теперь уже некоторых давно не было в живых, загромождали мои представления. Я запоминал навсегда однажды увиденное лицо женщины, помнил свои ощущения и мысли чуть ли не за каждый день на протяжении многих лет, и единственное, что я забывал с легкостью, были математические формулы, содержание некоторых, давно прочитанных книг и учебников. Но людей я помнил всех и всегда, хотя громадное большинство их не играло в моей жизни важной роли.

И когда я думал о том, как нелепо сложилась моя жизнь за границей, передо мной тотчас же вставало первое время моего пребывания в Париже, когда я работал на разгрузке барж в Сен-Дэни и жил в бараке с поляками; это был преступный сброд, прошедший через несколько тюрем и попавший наконец туда, в Сен-Дэни, куда человека мог загнать только голод и полная невозможность найти какую-либо другую работу. Никто из них не знал по-французски, так же как не знали этого языка и другие – двое русских, приехавших с немецких шахт, один беглый испанец, несколько португальцев и маленький итальянец с нежным лицом и белыми руками, тоже неизвестно почему попавший из Милана во Францию, – мои товарищи по работе. Когда мы выстроились утром, пришел директор, полный мужчина с заплавленными глазами под золотым пенсне; он осмотрел нас и потом сказал шефу, который его сопровождал:

– Это просто беглые каторжники.

Но никто из них не понял этой фразы, и они все искательно и выжидательно улыбались. Все поляки были страстными игроками в карты и после работы до поздней ночи играли между собой на последние деньги; затем неизменно оказывалось, что кто-то из них уличен в передергивании, кто-то другой – в краже, и между ними начиналась дикая драка, и я просыпался оттого, что на меня падало чье-то тело; и в решительный момент я всегда видел, как с крайней койки поднимался испанец; он торопливо одевался и уходил на час или два; он ничего не понимал из того, что говорилось, но, по-видимому, долгий жизненный опыт научил его, что в критические минуты предпочтительнее находиться подальше. И когда все утихало, в дверь просовывалась его узкая голова, он возвращался и снова ложился спать. Я выдержал две недели этой жизни; рядом со мной жил русский, спокойный и атлетический мужчина, относившийся ко всему решительно, даже к своей собственной судьбе, с совершенным безразличием. Он был настолько силен физически, что восьмичасовое таскание шестипудовых мешков его не утомляло; и когда я после первого дня работы лежал в совершенном бессилии на своей койке, то, засыпая, я услышал, как он сочувственно пробормотал: замотался парнишка. Иногда он пел низким голосом песни собственного сочинения и вовсе неожиданного содержания. Любимая его песня начиналась так: «Настрою я лиру на...» – следовало непристойное ругательство.

Был конец ноября, по утрам уже был иней; во время работы становилось жарко, но потом я начинал мерзнуть; к тому же нередко шли длительные дожди, и я в конце концов однажды утром не встал на работу, сказавшись больным, проспал до одиннадцати часов и затем ушел, унося с собой небольшой чемоданчик, в котором помещалось все мое имущество. День был солнечный и теплый – и даже ужасная нищета безотраднейшего Сен-Дэни показалась мне в тот раз менее резкой. Мне вскоре, однако, пришлось вернуться туда, на этот

раз в депо Северных железных дорог Франции, куда я поступил мыть паровозы. Когда мне сказали впервые «мыть паровозы», я был удивлен, я не знал, что их моют; потом выяснилось, что эта работа заключалась в промывании внутренних труб паровоза, на которых образовывались отложения. Эта работа была нетрудная, но неприятная; она происходила в открытом помещении, зимой вода была ледяная, и после первого же часа я обычно промокал с головы до ног, как если бы попал под проливной дождь; и в январские, и в февральские дни нельзя было не мерзнуть от этого; к концу рабочего дня у меня начинали стучать зубы. Я согревался только в бараке, который был значительно чище на этот раз и всегда жарко натоплен. Он был населен исключительно русскими; среди них я узнал одного моего старого знакомого, которого я в прежние времена встречал в Севастополе, это был партизанский атаман, человек довольно незаурядный. В давние времена он был мастером на Обуховском, кажется, заводе в России, затем, в Гражданскую войну, сформировал в Сибири, куда он попал неизвестно почему, партизанский отряд. В одном из очередных столкновений отряд был разбит частями Красной армии и Макс – его звали Макс – был взят в плен. Ему удалось, однако, бежать, и он пешком добрался из Сибири в Крым. Теперь я встретил его в этом депо, – он был тогда высоким стариком с бритой головой и черными улыбающимися глазами. Не зная почти ни слова по-французски, он получал в час примерно столько, сколько я получал в день, и когда я его спросил о причине такого жалования, он ответил, что французы вообще о работе не имеют представления и что их мастера никуда не годятся, а он, Макс, профессиональный русский мастер, – это вроде как ихний главный инженер. Он рассказывал, что, когда он поступал, его подвергли разным испытаниям и после этого, не споря, назначили ему максимальный оклад; он не имел определенной работы, его звали всюду, где что-нибудь не ладилось. Он починял электричество, вытачивал на станке какие-то сломанные части машин, производил необходимые расчеты и, в общем, работал не спеша и презрительно поплеывая на пол. Он был страстным любителем поэзии; я узнал это однажды вечером, когда он мне сказал с сокрушением:

– Вот смотрю я на тебя, и мне грустно становится, какая теперь молодежь сволочная пошла. Я на тебя две недели уже смотрю. Ты б хоть раз книжку какую в руки взял. А ты как вечер, так и залился в город, а приходишь ночью, что это за жизнь?

И он стал рассказывать мне, что когда был молодым, то очень много читал и всем интересовался. Потом он меня спросил, имею ли я какое-нибудь представление о литературе и читал ли я когда-нибудь стихи. Услышав мой ответ, он обрадовался, даже приподнялся с койки и сказал, что завтра вечером, в субботу, он поведет меня в одно место и там мы поговорим о поэзии. На следующий вечер мы пошли в маленькое кафе, у входа он сказал мне, показывая на хозяйку:

– Поговори с ней по-французски, закажи красного вина. Пусть она почувствует, что мы тоже можем по-французски.

Я заказал бутылку вина, он покачал головой и сказал:

– Люблю, когда наши по-французски говорят, и где ты только научился?

Потом он спросил меня, знаю ли таких поэтов – он назвал десяток имен. Я кивал головой. Он прочел вслух несколько стихотворений, у него была хорошая память; он читал стихи, закрыв глаза и покачиваясь, с необыкновенным чувством, но так, как их читают обычно актеры, то есть забывая о ритме и подчеркивая только смысловую последовательность. Затем он сказал, что прочтет сейчас самое любимое свое стихотворение; он закрыл глаза, лицо его побледнело, и он начал изменившимся голосом:

К позорной казни присужденный,
лежит в цепях венгерский граф...

Как все простые и душевно наивные люди, он очень любил внешнюю роскошь описаний; судьба русского крестьянина трогала его меньше, чем участь венгерского графа или австрийского барона. Мне часто приходилось наблюдать эту удивительную склонность людей к совершенно чуждому им миру, роскошь которого навсегда поразила их воображение.

В те времена я имел о Париже очень приблизительное представление, и вид этого города ночью неизменно поражал меня, как декорации гигантского и почти безмолвного спектакля, – длинные линии фонарей на уходящих бульварах, мертвые их отблески на неподвижной поверхности канала St. Martin, едва слышное лепетание листьев на каштанах, синие искры на рельсах метро там, где оно проходит над улицами, а не под землей. Теперь, когда я знаю Париж лучше, чем любой город моей родины, мне нужно сделать над собой большое усилие, чтобы вновь увидеть этот его почти исчезнувший, почти потерянный облик. Но зато вид его предместий остался таким же; и я не знаю ничего более унылого и пронзительно-печального, чем рабочие предместья Парижа, где, кажется, в самом воздухе стелется вековая безвыходная нищета, где жили и умерли целые поколения людей, жизнь которых по будничной своей безотрадности не может сравниться ни с чем – разве только с окрестностями Bd Sébastopol, где столетиями стоит запах гнили и где каждый дом пропитан этим невыносимым зловонием. Постоянное мое любопытство тянуло меня к этим местам, и я неоднократно обходил все те кварталы Парижа, в которых живет эта ужасная беднота и эта человеческая падаль; я проходил по средневековой узкой улочке, соединяющей Севастопольский бульвар с улицей St. Martin, где днем под стеклянным навесом убогой гостиницы горел фонарь и на пороге стояла проститутка с лиловым лицом и облезшим мехом вокруг шеи; я бывал на площади Мобер, где собирались искатели окурков и бродяги со всего города, поминутно почесывавшие немытое тело, видневшееся сквозь неправдоподобно грязную рубаху; я бывал возле Ménilmontant, Belleville, Porte de Clignancourt, и у меня сжималось сердце от жалости и отвращения. Но я никогда не знал бы многого из того, что знаю и половины чего достаточно, чтобы отравить навсегда несколько человеческих жизней, если бы мне не пришлось сделаться шофером такси. До этого, однако, я был рабочим, потом студентом, потом служащим, потом занимался преподаванием русского и французского языков, и только после того, как выяснилась для меня совершенная несущественность этих занятий, я сдал экзамен на знание парижских улиц и управление автомобилем и получил необходимые бумаги.

Работа на фабрике оказалась для меня невозможной не потому, что была особенно изнурительной; я был совершенно здоров и почти не знал физической усталости, особенно после моего стажа в Сен-Дэни. Но я не мог выдержать этого постоянного заключения в мастерской, я чувствовал себя как в тюрьме и искренне недоумевал: как могут люди всю жизнь, десятки лет жить в таких условиях? Правда, этому предшествовали чаще всего целые поколения их предков, всегда занимавшихся физическим трудом, – и никогда, ни у одного из профессиональных рабочих я не замечал протеста против этого невыносимого существования; все их возмущение чаще всего сводилось к тому, что они считали свой труд недостаточно оплачиваемым, но против принципа этого труда они не восставали, эта мысль никогда не приходила им в голову. Я еще не знал в те времена, что разные люди, которых мне приходилось встречать, отделены друг от друга почти непереходимыми расстояниями; и, живя в одном городе и одной стране, говоря на почти одинаковых языках, так же далеки друг от друга, как эскимос и австралиец. Я помню, мне никак не удавалось объяснить моим товарищам по работе, что я поступаю в университет, они не могли этого понять.

– Чему же ты будешь учиться? – Я отвечал, подробно перечисляя предметы, которые меня интересовали. – Ты знаешь, ведь это трудно, нужно знать много особенных слов, – говорили они. Потом один из них наконец заявил, что это невозможно: чтобы поступить в

университет, нужно окончить среднее учебное заведение, лицей, в котором могут учиться только богатые люди. Я сказал, что у меня есть нужный аттестат. Они недоверчиво качали головами, и одна работница мне посоветовала бросить эти никому не нужные вещи, она говорила, что это не для нас, рабочих, и уговаривала меня не рисковать, а остаться здесь, где, по ее словам, лет через десять я мог бы стать мастером или начальником группы рабочих. – Десять лет! – сказал я. – Да я десять раз умру за это время. – Ты плохо кончишь, – сказала она мне напоследок.

Несмотря на то что я был совершенно чужд этим моим товарищам по работе – фрезеровщикам, сверлильщикам, слесарям, – у меня с ними были прекрасные отношения, и в чисто человеческом смысле они были, во всяком случае, не хуже, а часто даже лучше, чем представители других профессий, с которыми мне пришлось сталкиваться, и, во всяком случае, честнее. Меня поражало, мне не могло не imponировать то веселое мужество, с которым они жили. Я знал, что то, что мне казалось каторжным лишением свободы, было для них нормальным состоянием, в их глазах мир был иначе устроен, чем в моих; у них соответственно этому были изменены все реакции на него, как это бывает с третьим или четвертым поколением дрессированных животных – и как это, конечно, было бы со мной, если бы я работал на фабрике пятнадцать или двадцать лет. Но вне зависимости от того, чем объяснялись их веселость, насмешливость и беззаботность, эти качества сами по себе были настолько хороши, что я не мог не поддаться их своеобразной привлекательности. Резкую разницу, которая была между ними и мной и которая невольно подчеркивала несущразность моего положения, мою неуместность на фабрике, я старался сглаживать как мог, чтобы не привлекать постоянного внимания соседей, и через некоторое время я научился понимать и употреблять термины арго и стал одеваться так же, как они. И вот тем, что я по внешнему облику начал совершенно походить на рабочего, я навлек на себя презрительное неудовольствие одного из моих соседей, высокого чернобородого человека, приходившего в мастерскую в своем синем штатском костюме с университетским значком. Он был русский, кончивший юридический факультет в Праге. Костюм его лоснился и был неправдоподобно неприличен, в бороде всегда застревали железные стружки, так же как в спутанных волосах. У него было худое скуластое лицо с большими глазами; он вообще был похож на один из портретов Достоевского, который, кстати сказать, был его любимым автором. Рабочие и особенно работницы издевались над ним: расстраивали установку его сверлильного станка, прицепляли ему сзади на спину бумажные хвостики, говорили ему, что его вызывает начальник мастерской, который и не думал этого делать. Он плохо знал по-французски и многого не понимал из насмешек его товарищей по работе. Но относился он ко всему этому с совершенно стоическим презрением, и только иногда, по его глазам, было видно, как тяжело ему это. Мне было жаль его, я несколько раз вмешивался и объяснял, что стыдно издеваться над человеком, который не в состоянии ответить. Но они с детской жестокостью через некоторое время снова начинали свои приставания. Во время таких споров он обычно стоял в стороне, молчал, и только глаза его, вообще очень выразительные, следили за всеми нами. Со мной он никогда не разговаривал. Но потом, однажды, он подошел ко мне и спросил, правда ли, что я русский, и, узнав это, сказал:

– И вам не стыдно?

– Чего же я должен стыдиться? – спросил я с недоумением.

И он объяснил мне, что позор мой – он так и сказал: позор – заключается в том, что меня нельзя никак отличить от рабочего.

– Вы так же одеваетесь, как они, носите такие же шарфы, такую же кепку, словом, у вас такой же хулиганский и пролетарский вид, как у них.

– Вы меня извините, – сказал я, – но ведь лучше иметь рабочее платье и переодеваться, чем ходить в нецелесообразном костюме, у которого, может быть, есть то достоинство, что

он сразу отличает вас от других рабочих, но ведь это все, вот уже полгода, один и тот же костюм, и он, мягко говоря, успел очень запачкаться. Это мне кажется недостатком.

— Судя по вашей манере говорить, вы человек интеллигентный, — сказал он, — как же вы не понимаете, что все это не важно, а важно сохранить человеческую сущность.

— Я не считаю, что чистый костюм является для этого таким препятствием.

Но он произнес целую речь о том, что «бытие определяет сознание» и что против этого надо протестовать всеми силами. Рабочих он не считал за людей и безгранично презирал. Потом он сказал, что революция у него отняла все, но что у него осталось, нечто бесконечно более ценное и недоступное тем, кто сидит теперь в его доме, в Петербурге, — Блок, Анненский, Достоевский, «Война и мир». Никакие возражения не могли его поколебать, и я на них не настаивал; я понимал, как мне казалось, что это было действительно единственное его богатство и, кроме этого, у него решительно ничего не было на свете. И несмотря на то, что он не был способен понять некоторые элементарнейшие вещи, я не мог не почувствовать невольного уважения к этому человеку, видевшему только одну сторону мира; все-таки то, что он так любил, заслуживало и отречения, и жертв. Зато он был совершенно чужд общих сожалений, характерных для таких же бывших людей, как он, которые я слышал и читал тысячу раз и которые главным образом сводились ко вздохам о потерянном житейском благополучии самого мелкого свойства.

В этой же мастерской, недалеко от меня, работал еще один русский, которого я знал раньше, так как одно время учился вместе с ним. Он был старше меня на несколько лет. Я никогда не мог выяснить ни его происхождения, ни условий, в которых он рос в России, потому что рассказы его об этом были абсолютно невероятны — и походили на описания светской роскоши в дешевых бульварных книжках. Я помнил только, что у его родителей были какие-то совершенно чудовищные, по его описанию, люстры и повар-француз. По-русски, однако, он говорил с малороссийским акцентом, и отвлеченные понятия никогда не фигурировали в его разговоре. За границей в фабричных условиях он был как рыба в воде и совершенно не страдал от них, для него скорее университет был бы трагедией. С рабочими он легче дружил и сходилась, чем другие, хотя почти не говорил по-французски. Работал он хорошо, был вынослив, и то, что он делал на фабрике, его живо интересовало. Он отличался еще исключительной бережливостью и анекдотической скупостью, питался только бульоном, хлебом и салом, которое он купил сразу в большом количестве за ничтожную цену, потому что, объяснял он, оно сверху было немножко испорчено, и все откладывал деньги. Потом он купил прекрасные дорогие часы на руку, но они стояли всю неделю: он заводил их только в субботу и воскресенье, говоря, что иначе механизм изнашивается. Жизнь его была чрезвычайно проста — всю неделю он работал, возвращаясь с фабрики, тотчас ложился спать, в субботу же шел сначала в баню, затем в публичный дом. Та культура, с которой ему пришлось соприкоснуться во время учения, прошла для него совершенно бесследно, и никогда ни один отвлеченный вопрос не занимал его внимания. И долгое время мне казалось, что всю его жизнь, все его мысли, побуждения и чувства можно было свести, как в алгебре, к двум-трем основным формулам — остальное было бесполезной и расточительной роскошью. Я не мог предвидеть беспощадной мести, которую ему готовила эта самая ненужная культура и отвлеченные понятия; мне всегда казалось, что против них у него был природный и непобедимый иммунитет.

Но он был одним из первых людей в моей жизни, о существовании которых я мог иметь окончательное суждение, потому что в течение нескольких лет я встречал его время от времени, видел изменения, происходившие с ним и особенно удивительные за последние два года; и главное, все остановилось в ту минуту, когда достигло сильнейшего напряжения. В нем было все, что необходимо для счастливой жизни, и прежде всего инстинктивная и полная приспособляемость к тем условиям, в которых ему пришлось жить: он искренне

полагал, что существует очень неплохо, что та ничтожная сумма денег, которая у него отложена – и которая каждый месяц увеличивается в той же убогой пропорции, – есть некоторый капитал, что два костюма особенного, подчеркнуто модного и тугого покроя, характерного для плохих портных из бедных кварталов Парижа, – это значит, что он хорошо одет, что очередная прибавка жалованья – 15 или 20 сантимов в час – увеличивает его «экономический потенциал», – словом, для оценки своего собственного положения он пользовался критериями рабочей среды, в которой жил, а о критериях общего порядка не подозревал, – я думаю, впрочем, что слово «критерий» не фигурировало в числе тех, которые он знал. В самое первое время в Париже, разговаривая с ним, еще можно было представить себе, что этот человек чему-то учился, но уже года через два от этого ничего не осталось; он забыл это так, казалось бы, глубоко и непоправимо, точно этого никогда не существовало. Как большинство простых людей, попавших в иностранную среду, он избегал говорить по-русски, и если бы не акцент и ошибки в глаголах, временах и родах, его речь можно было бы принять за речь французского крестьянина. Он ушел с завода, где мы работали вместе, и несколько месяцев спустя я видел его в вагоне метро: на красноватых его руках, которые я хорошо знал – с утолщениями к концам пальцев и закругляющимися ногтями, – были перчатки нежно-желтого цвета, а на голове был котелок. Фамилия его была Федорченко, и это его очень огорчало, так как, по его словам, французам было трудно ее произносить, и всем своим новым знакомым он представлялся как м-г Федор. В нем в сильнейшей степени была развита та же черта, которую я неоднократно наблюдал у многих русских, для которых все, что существовало прежде и что в конце концов определило их судьбу, перестало существовать и заменилось той убогой иностранной действительностью, в которой они в силу чаще всего плохого знания французского языка и отсутствия критического чувства именно по отношению к этой среде видели теперь чуть ли не идеал своего существования. Это было, как мне казалось, когда я думал обо всех этих людях – среди них бывали и прокуроры, адвокаты, доктора, – проявлением многообразнейшего инстинкта самосохранения, вызвавшего постепенную атрофию некоторых способностей, ставших не только ненужными, но даже вредными для той жизни, которую эти люди теперь вели, – и прежде всего способности критического суждения и той известной интеллектуальной роскоши, к которой они привыкли в прежнее время и которая в теперешних обстоятельствах была бы неуместна и невозможна. Я разговаривал как-то об этом с одним из моих товарищей, и он вдруг сказал, прерывая меня: – Ты помнишь книгу Уэллса, которую мы читали много лет тому назад, – «Остров доктора Моро»? Ты помнишь, как животные, обращенные в людей после того, как из-за какой-то катастрофы доктор Моро потерял над ними власть, – ты помнишь, с какой быстротой они забывали человеческие слова и возвращались к прежнему состоянию?

– Это унижительное сравнение, – сказал я, – это чудовищное преувеличение, я не могу с тобой согласиться.

Но позже, после того как мне пришлось видеть множество примеров этого душевного и умственного обнищания, я думал, что мой товарищ был, может быть, более прав, чем мне казалось сначала. Превращения, которые происходили с людьми под влиянием перемены условий, бывали настолько разительны, что вначале я отказывался им верить. У меня получалось впечатление, что я живу в гигантской лаборатории, где происходит экспериментирование форм человеческого существования, где судьба насмешливо превращает красавиц в старух, богатых в нищих, почтенных людей в профессиональных попрошайек – и делает это с удивительным, невероятным совершенством. Я как сквозь сон вспоминал и узнавал этих людей: в пьяном старике с седыми усами и мутным взглядом, которого я встретил в маленьком кафе одного из парижских пригородов, куда случайно попал, – он хлопал своего соседа, пожилого французского рабочего, который особенным, характерным для французского пролетариата движением открывал вкось рот с прилипшим к нижней губе, насквозь промок-

шим коротким окурком, – и говорил, с сильным акцентом: мы их на-ду-ли! – и потом вдруг выпрямлялся и умолкал, и мутный его взгляд начинал внезапно грустить, и он говорил: еще стакан белого, – и из разговора я понял наконец, что было предметом и этого восторга, и этой выпивки: их группе рабочих удалось сдать бракованный материал и получить за него деньги; в этом человеке я узнал свирепого усатого генерала, которого помнил по России, высокомерного и жестокого начальника. Его собутыльник ушел, он остался один, заказал себе неуверенным голосом и размашистым жестом и потом уставился на меня, время от времени вздрагивая и дергая головой. – Что вы на меня смотрите? – закричал он мне с раздражением. – Не пожалела вас судьба, однако, – сказал я по-русски. Он рассердился, заплатил и в пьяном и немом бешенстве вышел из кафе, не взглянув в мою сторону. Потом я узнал от моих знакомых, что, по их сведениям, генерал этот получил какое-то прекрасное место не то в Аргентине, не то в Бразилии и уехал туда уже очень давно; кажется, он преподает баллистику или еще что-то в этом роде в тамошней военной академии. Мне сказали, что он уехал лет восемь тому назад, что он оттуда никому не пишет. Этот отъезд, однако, он обставил с исключительной расточительностью, устроил банкет, все пили шампанское и поздравляли его с тем, что вот наконец он получил место по заслугам и что в будущей России, конечно... – Это он себе похороны устраивал, – сказал я, – вот почему эта поминальная роскошь. – Бразилия, Аргентина! а в самом деле сырая рабочая гостиница в шести километрах от Парижа, заводская сирена, красное вино, ежедневное хождение на фабрику, боль в ревматических суставах, перерождение печени – по счастливому медицинскому выражению, – и никакой Бразилии, никакой Аргентины, никакой, конечно, будущей России и ни одного утешения с той самой минуты, когда дымным осенним вечером нагруженный до отказа пароход вышел в бурное море, оставляя навсегда берега побежденного Крыма. И, в силу непонятной для меня ассоциации, каждый раз, когда я думал об этом генерале, я вспоминал застывшую в моем воображении маленькую нищую старушку, которую я видел в Севастополе и которая пела слабым голосом невнятную мелодию; она стояла всегда на одном и том же углу, и я хорошо ее знал и привык к ней. Я остановился однажды, чтобы разобрать наконец, что она поет. Слабым старческим голосом она тянула нараспев:

Мой миленький дружок,
Любезный пастушок...

Это было на Приморском бульваре, была прекрасная погода, под вечер, за морем садилось солнце, на рейде стоял английский крейсер «Мальборо». Я на секунду закрыл глаза и быстро пошел дальше. Никакая прочитанная книга, никакой результат длительного изучения не могли бы обладать такой ужасной убедительностью, как этот жалобный, умирающий в солнечном и юном великолепии отклик давно умолкнувшей и исчезнувшей эпохи. И мое воображение рисовало мне картины, относящиеся к молодости этой женщины, создало вокруг нее целый мир, неверный, расплывчатый, но бесконечно очаровательный и от которого теперь не осталось ничего, кроме этой наивной мелодии, похожей на тихую музыку из могилы, на кладбище, в летний день, в тишине, прерываемой только звенящим жужжанием насекомых.

* * *

Мне было тогда шестнадцать лет, но уже в те времена я знал чувство, которое потом неоднократно стесняло меня, – как если бы мне становилось трудно дышать, – стыд за то, что я молод, здоров и сыт, а они старые, больные и голодные, и в этом невольном сопоставлении есть нечто бесконечно тягостное. Это же чувство охватывало меня, когда видел калек, горбунов, больных и нищих. Но я испытывал подлинные страдания, когда они кривлялись и паясничали, чтобы рассмешить народ и заработать еще несколько копеек. И только в Париже,

на ночных его улицах, я увидел нищих, которые не вызвали сожаления; и сколько я ни старался себе внушить, что нельзя же это так оставить и нельзя дойти до такой степени очерствения, что их вид у тебя не вызывает ничего, кроме отвращения, — я не мог ничего с собой поделать. Я никогда не мог забыть, как однажды поздно ночью ко мне подошла женщина, одетая в черные лохмотья, с грязно-седыми нечесаными волосами; она приблизилась вплотную ко мне, так, что я почувствовал тот сложный и тяжелый запах, который исходил от нее, и что-то пробормотала, чего я не разобрал; я вынул монету ей, но она отказалась и продолжала бормотать. — Что же тебе нужно? — сказал я. — Ты идешь со мной? — спросила она, собираясь взять меня под руку. — Что? — сказал я с изумлением. — Ты с ума сошла? — Она отступила на шаг и более отчетливо ответила, что найдутся другие, лучше меня, — и исчезла. Был туман в ту зимнюю ночь, я проходил мимо Центрального рынка, где гремели грузовики, ржали лошади и где над всем плыл запах гниющих овощей и особого оттенка нечистотных миазмов, который характерен для этого квартала Парижа. Меня неоднократно охватывало отчаяние, — как, в силу какой социальной несправедливости было возможно существование этих людей? Но потом я убедился, что это была целая общественная категория, такой же законно существующий класс, как класс коммерсантов, как сословие адвокатов, как корпорация служащих. Их принадлежность к этому миру далеко не всегда определялась возрастом, среди них были молодые люди; и там была своеобразная иерархия и переходы от одной степени бедности к другой; и на моих глазах, например, еще не старая, но очень некрасивая женщина, бродившая обычно по пустынным улицам ночного Passy, постепенно сделала непредвиденную карьеру, объяснявшуюся, однако, одним неожиданным случаем, который она охотно рассказывала: это была болезнь печени, доктор ей запретил пить, и она с тех пор вела действительно трезвый образ жизни; и в трезвом состоянии она вдруг поняла, что, вместо нищенства, она может заняться проституцией. До тех пор эта мысль никогда не приходила ей в голову. Но это было неожиданное озарение громадной, исключительной для нее важности, нечто вроде того счастливого стечения обстоятельств и случайности, которому человечество обязано, быть может, возникновением нескольких религий, многих философских систем и изобретений. И я видел, как она стала все лучше и лучше одеваться, и в день ее окончательного апофеоза она ехала ночью в такси, тесно обнявшись с каким-то молодым человеком чрезвычайно приличного вида; и в ту часть секунды, когда их автомобиль проезжал мимо фонаря и внутренность его осветилась, я успел заметить котелок молодого человека, лежавший на сиденье, и лисий мех вокруг шеи этой женщины, и ее напудренное лицо с не изменявшимся, по-видимому, ни в каких обстоятельствах выражением холодной тупости, которое я давно знал. Я успел это все увидеть потому, что долгие годы шоферского ночного ремесла, требующего постоянного зрительного напряжения и быстроты взгляда, необходимых для того, чтобы не налететь на другую машину или успеть заметить автомобиль, неожиданно выезжающий из-за угла, развили эту быстроту зрительного впечатления во мне, так же как во всех моих товарищах по работе, до размеров необычных для среднего человека и характерных для гонщиков, боксеров, лыжников, акробатов и спортсменов. Этот зрительный рефлекс действовал иногда с механической и бездушной точностью и был совершенно бессознателен; мне случалось ехать довольно быстро, задумавшись о чем-нибудь и не глядя по сторонам; потом, без того, чтобы что-либо произошло, я сильно нажимал на тормоз, машина останавливалась — и тогда, перерезывая ей путь, быстро проезжал другой автомобиль, который я, оказываясь, видел, не отдавая себе в этом отчета, не думая об этом и, в сущности, не зная, что я его вижу. Совершенно так же, повернув голову вправо или влево — если приходилось пересекать большую улицу, — я сбоку видел, что делают клиенты, и однажды, я помню, ощутил неприятный холод в спине, потому что мой пассажир, сильно выпивший человек, типа рабочего, в растерзанном костюме, сидя сзади меня, все перекладывал из одной руки в другую два крупнокалиберных револьвера, которые, однако, как это

выяснилось позже, предназначались не для меня, так как он нормальнейшим образом расплатился и ушел неверной походкой. Я был совершенно убежден, что вез убийцу, и на следующий день с любопытством искал в вечерних газетах сообщения о новом преступлении – но не нашел; по-видимому, он отложил его. Но я почти убежден, что он совершил его; есть люди, у которых на лице написана их судьба, и его лицо было именно таким. Совершенно так же в лице Федорченко, на толстой лоснящейся и красноватой физиономии, лишенной всякой одухотворенности, было что-то страшное, в чем я никогда не мог дать себе отчета; но мне всегда бывало неуютно, когда я находился рядом с этим человеком, хотя мне лично с его стороны ничего не могло грозить ни в какой степени. И все-таки каждый раз, когда я его видел, мне становилось не по себе, это было похоже на то чувство, которое я испытывал бы, глядя, как человек срывается с крыши и летит вниз или падает в решетку лифта.

С тех пор, когда я работал вместе с ним на заводе, я на некоторое время потерял его из виду. Но однажды, в морозный февральский вечер, поставив автомобиль на стоянке и собираясь слезть, чтобы идти в кафе – это происходило на бульваре Pasteur, – я увидел его; он шел, оборачиваясь по сторонам и неся в руке маленький черный чемоданчик. Он был одет по-праздничному, на голове его был котелок, но вид у него был растерянный. Увидя меня, он почему-то обрадовался и сказал, что у него ко мне дело, потом не удержался и спросил, как я нахожу его костюм и пальто.

– Очень хорошо, – сказал я, – прекрасно. Только галстук не надо завязывать таким маленьким узелком, это так бабушки в России носовые платки завязывают, чтобы не забыть, и потом, не следует носить, по-моему, туфли с лакированными носками. А в общем, конечно, великолепно. В чем дело?

Он рассказал мне, что возвращается с Монпарнаса и огорчен своей неудачей. Оказывается, он давно уже заметил там – в определенные часы, вечером, – какую-то даму в мехах, приходившую в кафе с прекрасным ангорским котом. Сам Федорченко был к кошкам равнодушен; но его невеста, как он сказал, очень любила эту породу, и он думал, что доставит ей удовольствие, если принесет в подарок ангорского кота. Он решил его украсть. С этой целью он отправился в кафе, захватил с собой чемоданчик, который он продолжал держать в руке, рассказывая мне все это, – воспользовался минутой, когда дама вышла на короткое время, посадил кота в чемодан и ушел. Он потратил на подготовку этого плана много дней, все ходил в кафе, смотрел на часы, пил пиво и выжидал случая, когда дама выйдет и на террасе не будет других посетителей. Дама, к счастью, всегда предпочитала террасу; и хотя за стеклянными ширмами стояла печка и было тепло, большинство посетителей сидело обычно внутри; однако несколько человек всегда оставались на террасе. Сегодняшний вечер был особенно удачным, так как там, кроме дамы и Федорченко, сидела только одна пара влюбленных; влюбленные целовались и не обращали внимания на то, что происходило вокруг. Таким образом, выполнение плана прошло очень хорошо. К несчастью, по дороге чемоданчик расстегнулся, как он сказал, и кот, который до этого все держался внутри, выскочил и бросился бежать с необыкновенной, по словам Федорченко, быстротой. Федорченко долго ловил его, но не мог поймать. – Удрал-таки, сукин сын, – сказал он с внезапным озлоблением, – что вы скажете?

– Кот, конечно, дрянь, – сказал я, – но вот я не очень уверен, стоило ли его воровать? Вы могли попасть в грязную историю.

Федорченко махнул рукой и потом сказал с отчаянием в голосе, что ради своей невесты он готов на все и что другого способа достать кота не было; кот стоит бешеных денег, а он, Федорченко, не миллионер. Дело же его заключалось в том, что он попросил меня отвезти его на улицу Риволи, где жила невеста. Мы приехали туда, и я остановился, когда он мне сказал – вот сюда, – на углу узенького, как коридор, переулка, выходящего с одной стороны на набережную, с другой на Риволи, в центре квартала Св. Павла, одного из самых бедных и

грязных в Париже. Переулок этот был известен тем, что в нем находился огромный и очень дешевый публичный дом, и теперь, в этот вечерний час, там было большое движение, туда шли или оттуда выходили солдаты, арабы, рабочие.

– Вот тут за углом, недалеко, – сказал Федорченко. И он объяснил мне, что здесь у его невесты служба.

– Что же она делает? – спросил я. Он ответил, что у нее здесь специальная работа. Я покачал головой и попрощался с ним; и его котелок – единственный на этой улице, где преобладали кепки, – скрылся за углом. История с невестой казалась мне странной и в известной мере чем-то похожей на историю с монпарнасским котом. Но всякий раз, когда я думал о Федорченко, я точно натыкался на стену – в нем не было, казалось, ни одного недостатка, он был почти совершенен в том смысле, что все, что мешает человеку в жизни, в нем отсутствовало в идеальной степени – огорчения, печаль, сомнения, моральные предрассудки; мысли об этом ему никогда не приходили в голову. И я не мог себе представить, какая женщина, если это только не было несчастное и забитое существо, живущее впроголодь, могла решиться соединить свою судьбу с этой тупой и душевно беззвучной жизнью.

* * *

Поздней ночью, после того как была окончена собственно вечерняя работа, я часто приезжал в районы, прилегавшие к площади Этуаль. Я любил эти кварталы больше других за их ночное безмолвие, за строгое однообразие их высоких домов, за те каменные пропасти между ними, которые изредка попадались на этих улицах и которые я видел, проезжая. И вот ночью того дня, когда я отвозил Федорченко к его невесте, едучи по авеню Ваграм, я увидел издали высокую женскую фигуру в меховой шубе, стоявшую на краю тротуара. Я замедлил ход, она сделала мне знак, и я остановил автомобиль. Она подошла совсем близко, посмотрела на меня, и на ее лице было поразившее меня выражение неожиданности и удивления. Потом она сказала мне:

– Дэдэ, как ты стал шофером?

Я смотрел на нее, не понимая. Ей по виду можно было дать около пятидесяти лет, но на увядшем напудренном лице были очень большие черные глаза со сдержанно-нежным выражением, и фигура ее сохранила еще, по инерции, какой-то неповторимо юный размах, и я подумал, что, наверное, много лет тому назад эта женщина была очень хороша. Но я не понимал, почему она обратилась ко мне, назвав меня чужим именем. Это не могло быть одним из приемов завлечения клиента, – и ее голос, и ее выражение были слишком естественны для этого.

– Мадам, – сказал я, – это ошибка.

– Почему ты не хочешь узнавать меня? – продолжала она медленным голосом. – Я никогда тебе не сделала зла.

– Несомненно, – сказал я, – несомненно, хотя бы по той причине, что я никогда не имел удовольствия вас видеть.

– Тебе не стыдно, Дэдэ?

– Но уверяю вас...

– Ты хочешь сказать, что ты не Дэдэ-кровельщик?

– Дэдэ-кровельщик? – сказал я с изумлением. – Нет, я не только не Дэдэ-кровельщик, но я даже никогда не слышал этого прозвища.

– Слезай с автомобиля, – сказала она.

– Зачем?

– Слезай, я тебя прошу.

Я пожал плечами и слез. Она стояла против меня и рассматривала меня в упор. Я не мог не чувствовать всей нелепости этой сцены, но терпеливо стоял и ждал.

– Да, – наконец сказала она, – он был, пожалуй, чуть выше. Но какое поразительное сходство!

– Видите ли что, мадам, – сказал я, садясь опять за руль, – чтобы вас окончательно убедить, я вам должен сказать, что я не только не Дэдэ, но что я не француз, я – русский.

Но она не поверила мне: – Я могу тебе сказать, что я японка, – сказала она, – это будет так же неубедительно. Я хорошо знаю русских, я их видела очень много, и настоящих русских – графов, баронов и князей, а не несчастных шоферов такси, они все хорошо говорили по-французски, но у всех был акцент или иностранные интонации, которых у тебя нет.

Она говорила мне «ты», я продолжал говорить ей «вы», у меня не поворачивался язык ответить так же, она была вдвое старше меня.

– Это ничего не доказывает, – сказал я. – Но скажите мне, пожалуйста, кто был этот Дэдэ?

– Это был один из моих любовников, – сказала она со вздохом. Она сказала «*amant de coeur*»², это непереводимо на русский язык.

– Это очень лестно, – сказал я, не удержав улыбки, – но это был не я.

У нее на глазах стояли слезы, она дрожала от холода. Потом она обратилась ко мне с предложением последовать за ней, мне стало ее жаль, я отрицательно покачал головой.

– У меня не было ни одного клиента сегодня, – сказала она, – я замерзла, я не могла даже выпить кофе.

На углу светилось одинокое кафе. Я предложил ей заплатить за то, что она выпьет и съест.

– И ты ничего от меня не потребуешь?

Я поспешил сказать, что нет, я решительно ничего не требую от нее.

– Я начинаю верить, что ты действительно русский, – сказала она. – Но ты меня не узнаешь?

– Нет, – ответил я, – я никогда вас не видел.

– Меня зовут Жанна Ральди, – сказала она. Я тщетно напрягал свою память, но ничего не мог найти.

– Это имя мне ничего не говорит, – сказал я.

Она спросила, сколько мне лет, я ответил.

– Да, – сказала она задумчиво, – может быть, ты прав, твое поколение меня уже не знало. Ты никогда не слышал обо мне? Я была любовницей герцога Орлеанского и короля Греции, я была в Испании, Америке, Англии и России, у меня был замок в Виль д'Аврэ, двадцать миллионов франков и дом на rue Rennequin.

И только когда она сказала – rue Rennequin, – я сразу вспомнил все. Я очень хорошо знал название этой улицы, я впервые услышал его еще в России, много лет тому назад. Я сразу увидел перед собой глухую станцию, запасные пути, занесенные рельсы, трупы лошадей, из которых собаки с кричающим звуком вырывали внутренности, скудный свет железнодорожных фонарей, в котором вился и сыпался мелкий снег – в морозном и единственном в мире воздухе моей родины. В те времена – это был последний год Гражданской войны – вечерами в наш вагон приходил пожилой штатский человек, князь Нербатов, любивший, по его словам, молодежь и долго рассказывавший нам о Париже. Он был стар, беден и несчастен, на нем было заношенное платье, и от него всегда шел точно легкий запах падали. Я вспомнил его слезящиеся от мороза маленькие глаза, густую седую щетину и красноватые руки, которые дрожали, когда он брал папиросу и подносил к ней танцующий в его пальцах огонек спички. Мы кормили его, давали ему деньги и слушали его рассказы. Этот человек всю свою жизнь посвятил женщинам; он провел долгие годы в Париже, интересовался искус-

² «Любовник для души», т. е. который не платит (*фр.*).

ством, любил хорошие книги, хорошие сигары, хорошие обеды; театры, скачки, премьеры, логи, цветы – это всегда фигурировало в его воспоминаниях. Он был по-своему не глупый человек, понимавший, в частности, то, что он называл «женской пронзительностью», но испорченный той видимостью культуры, в ценности которой он никогда не сомневался. Он восхищался «Орленком» и «Дамой с камелиями», был недалеко от того, чтобы сравнивать Оффенбаха с Шубертом, с удовольствием читал малограмотные светские романы; он не был плох сам по себе, он был жертвой своих денег и не был виноват в том, что никогда в жизни не сталкивался с людьми, в представлении которых культура не носила того опереточного характера, который он невольно придавал ей.

Он был русским boulevardier³ давнишнего Парижа, Парижа начала столетия; но главным теперь было то, что в те времена дни его были сочтены; у него был туберкулез, он тяжело кашлял, задыхался и багровел, не мог сказать во время этих припадков ни слова, и в покрывавшихся слезами его глазах в эти минуты было совершенное отчаяние. Помимо туберкулеза, он был болен цингой, – словом, он почти умирал на наших глазах – не физически, так как особенно резкого ухудшения его здоровья не происходило, – а во времени; было ясно, что если мы могли говорить о том, что будет через пять лет, то в его устах такая речь была бы бессмысленна, – и он это знал так же хорошо, как и мы. Он оживлялся после водки – и обычно тогда начинал свои рассказы. Но о чем бы он ни говорил, он всегда возвращался к своим любовным воспоминаниям и в конце вечера всегда сбивался на единственную тему, которая, по-видимому, потрясла его навсегда; и если случалось, что он особенно много выпил, он начинал плакать, вспоминая об этом. Это был рассказ о женщине, имени которой я не помнил и которая жила в Париже на улице Ренекэн. У него с ней был длинный роман, и он сообщал, без тени стыда, неприличнейшие и подробные его обстоятельства и нередко горько плакал, вспоминая именно эти нецензурные детали. Женщина, которую он описывал, казалась бы совершенной богиней, если бы не было этих подробностей, и обладала, по его словам, и необыкновенной, непобедимой очаровательностью, и исключительным умом и вкусом, и вообще всеми решительно достоинствами, за исключением добродетели. Я вспомнил, что он рассказывал о ее карьере – и именно о герцоге Орлеанском, короле, банкирах, министрах, этих ее «мимолетных капризах», как он говорил; он очень любил эти выражения, и было удивительно, что личные его – нередко подлинные – несчастья и переживания укладывались именно в такие невыразительные и ничему живому не соответствующие слова; но он был весь проникнут этой словесной дребеденью; он так же говорил по-французски – на том старомодном и смешном языке, который был характерен для начала столетия. И все же, несмотря на явную пристрастность и преувеличенность его описаний, у нас тогда не возникало сомнений, что это была действительно замечательная женщина; и, может быть, этому впечатлению способствовало еще и то, что была лютая зима, Гражданская война, глубокая глушь ледяной России, и та далекая и блестящая в его наивном представлении жизнь в Париже, которой мы никогда не знали, вдруг приобретала и для нас соблазнительность призрачного и невозможного великолепия. Мы расстались с князем, потому что нас спешно перебрасывали на другое место, и я успел зайти к нему попрощаться в маленький и грязный домишко, где он жил; он лежал на кровати, задыхаясь от кашля, в комнате стоял тяжелый запах, окна были заперты, топила докрасна раскаленная печь. Я принес ему на прощание мешок угля, водку и консервы, пожал его дрожащую горячую руку – он был совсем плох, – пожелал выздоровления; он прохрипел в ответ – умирать остаюсь, прощайте, – и я ушел с тяжелым сердцем. Я никогда потом не возвращался в эти места России и никогда не видел ни одного человека, который мог бы мне сказать, как и когда умер князь, потому что в том, что он умер вскоре после нашего отъезда, не могло быть никаких сомнений. Но воспоминание

³ Завсегдатай Больших бульваров (фр.).

о нем навсегда было связано у меня с тем опереточным и вздорным миром, который он так любил наивной своей душой и рассказ о котором не вызывал бы ничего, кроме невольного презрения и насмешки, если бы он весь не находился в тени трагического и неприличного силуэта этой женщины.

Стоя рядом с ней в кафе – она пила вторую чашку шоколада и ела сандвич, – я пристально смотрел на нее. Она ела сандвич, отрывая длинными и очень чистыми – я обратил на это внимание – пальцами маленькие куски, которые ей трудно было жевать, так как во рту у нее не хватало зубов. Теперь в свете ламп было видно, что ей значительно больше пятидесяти лет, ей, верно, было за шестьдесят. Я долго смотрел на нее, и вдруг я увидел себя – сухоньким стариком с морщинистой желтой кожей, с дряблым телом и тоненькими мускулами, которые будут неспособны ни к какому усилию. Была глубокая ночь, за окном кафе вился мелкий и редкий снег. Мне стало холодно и очень неприятно. Но я сделал над собой усилие и сказал:

– Извините меня за нескромность. Но каким образом вышло, что, имея такое состояние, вы все-таки теперь вот, когда вам следовало бы мирно жить в удобном и теплом доме и читать книги, если это вас интересует, вместо этого...

Она пожала плечами и ответила, что это длинная история, что ее погубили наркотики, что ее обкрадывали все и что она не могла остановиться, хотя знала, чем все это должно кончиться. Она говорила со мной на таком чистом и прекрасном французском языке, который мне приходилось слышать очень редко и который придавал некоторую убедительность рассказам о ее прошлом великолепии. Теперь она жила в глубокой нищете, в одной из холодных комнат старого дома, находившегося на той же самой улице, где у нее когда-то был особняк. Она рассказывала мне, что в течение долгих лет ей принадлежал – во второй, менее блистательной половине ее жизни – один из лучших домов свиданий в Париже.

– Да, да, – рассеянно сказал я, – все то же самое.

Кафе уже закрывалось. Я расплатился, и мы вышли на улицу. Она все время дрожала от холода, и слезы опять мгновенно показались на ее глазах.

– Идите домой, – сказал я, – вы простудитесь, тогда будет еще хуже.

Она отрицательно качала головой и отказывалась, говоря, что не заработала ни одного франка. Мне было очень жаль ее, я дал ей немного денег и отвез ее домой.

– Спасибо, мой милый, – сказала она, стоя уже на тротуаре, перед дверью своего дома. – Я думаю, что ты не совсем нормален, и я верю теперь, что ты русский. Если ты будешь еще в этих местах, ты всегда найдешь меня здесь. Я буду рада тебя видеть, мы поговорим.

Я вернулся туда через несколько дней в тот же поздний час и издали увидел ее фигуру. На этот раз мы долго говорили с ней; и впоследствии я неоднократно проводил целые часы в этих разговорах. Она была действительно по-настоящему умна – особенным, снисходительным и ленивым умом, в котором совершенно отсутствовало озлобление или резкое осуждение, и это казалось вначале удивительным. У нее была прекрасная память. Я спросил ее однажды, помнит ли она князя Нербатова. Она вдруг засмеялась совсем особенно, так, что, если бы я только слышал этот смех, а не видел бы ее, я бы думал, что это смеется молодая женщина, – и сказала:

– Маленький русский князь с лорнетом, который жил на авеню Виктор Гюго? Ты знал его? Где? В России?

Я кивнул головой. Она задумалась, вспоминая, по-видимому, это далекое время.

– Он был неплохой человек, он мне предложил ехать с ним в Россию и все рассказывал о своих имениях. Но он был не очень умен и очень сентиментален.

– Я думаю, как все boulevardiers.

– Большинство, – сказала она с улыбкой. – Не абсолютно все, но большинство. Это была особенная порода людей.

– Да, да, знаю, – сказал я, – дурной вкус, и сентиментальность дурного вкуса, и адюльтерные вздохи, и теперь – зловонная старость после долгой жизни, которая похожа на идиотскую мелодраму даже без извинения трагической развязки.

– Странно, – сказала она, не отвечая, – удивительное соединение: у тебя доброе сердце и такая явная душевная грубость. Нет, твоё поколение не лучше. Ты говоришь – дурной вкус. Но ведь вкус – это эпоха, и то, что сейчас дурной вкус, не было таким раньше. Ты должен это знать, мой милый.

После того как я увидел Ральди первый раз и она приняла меня за Дэдэ-кровельщика, – несмотря на упоминание рю Ренекэн, – её история казалась мне невероятной, и я спрашивал о ней у старых шоферов, и в частности у одного из них, который тридцать лет работал ночью. Оказалось, что её действительно знали все.

– Она была неплохая девка, – сказал он мне, – и совсем не зазнавалась. И сколько было этой сволочи из аристократов, которые её содержали! Как же мне её не знать? Ты только её спроси, помнит ли она шофера Рене, она тебе сама скажет. Почему ты меня о ней спрашиваешь, она к тебе пристала на улице? Какое несчастье! И думать об этом жалко. Они все так кончают, они порченые.

Мне было жаль Ральди, у меня не хватало жестокости говорить с ней так, как мне хотелось, то есть со всей откровенностью. Но все же я расспрашивал её, она рассказывала мне свою жизнь, которая вся состояла из грубейших ошибок и непонятных увлечений, что казалось удивительно при её необычном, особенно для женщины её круга, уме. Я сказал ей это, она ответила, что страсть сильнее всего. Я не удержался и ещё раз пристально посмотрел на неё, на это морщинистое и старое лицо с удивительными и нежными глазами.

– Тебя удивляет, что я говорю о страсти? – сказала она, угадав мою мысль. – Четверть века тому назад, когда я произносила это слово, оно производило другое впечатление, чем теперь.

У неё была своя философия – снисходительная и примирительная, она не очень высоко ценила людей, но считала их недостатки естественными. Когда она сказала это мне, я заметил, что весь огромный её опыт касался, в сущности, только одной категории людей, действительно ничтожной, людей, которые посещают полусвет – жеманная глупость этого выражения всегда раздражала меня, – дома свиданий, специальные ночные кабаре, содержат актеров и танцовщиц и в которых нет ничего, кроме душевной и физической дряблости и все того же всепобеждающего дурного вкуса. Она слушала то, что я говорил, смотря на меня насмешливо-нежным своим взглядом.

– Ты бы хотел все это уничтожить? взорвать?

– Нет, но если бы это исчезло, об этом не стоило бы жалеть.

Она покачала головой и сказала, не переставая улыбаться, что это не есть особенная категория людей.

– Что же это такое?

– Известная степень благосостояния, и если бы ты его достиг, ты, даже ты, наверное, был бы таким же, как они.

– Никогда, – сказал я.

– Я бы надеялась на это, – ответила она, – но я бы не ручалась.

Однажды она сказала мне:

– Тебе не кажется нелепым, что ты шофер такси, ты не думаешь, что эта работа тебе не подходит?

Я ответил, что выбора у меня не было. И тогда она предложила мне свои услуги, чтобы поблагодарить меня, как она сказала, за человеческое отношение к ней. – Я устрою твою жизнь иначе, ты ещё очень молод и, кажется, здоров. – Я, недоумевая, смотрел на неё. Она объяснила мне, что у неё большие знакомства, что есть женщины, в конце концов, нестарые,

сорок два, сорок три года, француженки или англичанки... Я сидел с ней в кафе и хохотал как сумасшедший, не будучи в силах остановиться. Потом со слезами смеха я поблагодарил ее.

– Что? ты находишь это невозможным? Но ведь это лучше, чем сидеть за рулем твоего автомобиля. У тебя так сильны предрассудки?

В тот вечер, когда происходил этот разговор, я не работал; я был в кинематографе на бульварах, потом, гуляя по Парижу, дошел до Этуаль и, вспомнив о Ральди, спустился на авеню Ваграм и встретил ее. Была весенняя светлая и прозрачная ночь. Мы сидели на террасе; по тротуару мимо нас проходили редкие прохожие. Из глубины кафе тихо дребезжала граммофонная пластинка; певица с высоким и идеально лишенным мелодичности голосом, так что было даже удивительно, как у нее все-таки получается какой-то мотив, пела уже вышедшую тогда из моды песенку «Раньше я смеялась над любовью». И сквозь этот мотив я внезапно ощутил вдруг рядом с собой чье-то неожиданное присутствие. Я повернул голову и увидел, в двух шагах от себя, на тротуаре, Платона, моего всегдашнего собеседника, Бог знает как очутившегося в этом далеком от его квартала районе. Но еще больше, чем его появление, меня удивил его вид. Он был в смокинге; и всегда небрежное его лицо было свежесбрировано, отчего совершенно изменилось и приобрело печальную важность, и я подумал, что его несомненная чистая очевидность, должно быть, была вообще характерна для него, но скрывалась обычно густой щетиной. Он поздоровался со мной и низко поклонился Ральди, сняв шляпу отвыкшей от этого движения рукой. Я пригласил его сесть за столик и собрался заказать ему, как всегда, белого вина, но он остановил меня и спросил пива.

– Вы положительно хотите заставить меня пройти все возможные степени удивления, дорогой друг, – сказал я. – Как вы попали в эти края и чем объясняется ваш смокинг, которым вы, насколько я знаю, не злоупотребляете? Мадам Ральди, разрешите вам представить моего друга Платона.

Платон был так же печален и учтив, как всегда. Он спросил Ральди, не беспокоит ли ее дым, закурил сигару и объяснил, что был на премьере одной пьесы, решил пешком вернуться домой и вот, гуляя в этом районе Парижа, где он не бывал много лет, он случайно увидел меня и остановился. Ральди спросила его, нравится ли ему эта часть Парижа, он ответил, что он к ней равнодушен, он предпочитает левый берег Парижа, узкие улицы, выходящие на набережную Конти, остров Святого Людовика, бульвар Сен-Жермен, улицу Мазарин, вообще кварталы, сохранившие ту архаическую прелесть, которой нет в больших и центральных районах правого берега. Ральди заговорила о других городах, и тут тоже сказалась разница их вкусов в том, что касалось, например, Лондона, Мадрида или Рима.

– Человек, – сказал Платон, – который стал бы утверждать, что внешний облик всякого города есть живая иллюстрация его последовательной культуры, в сущности, был бы прав, но эта теория отличается трудностью приложения, отсутствием очевидности; эти изменения обнаруживаются только в результате тщательного наблюдения и сопоставлений; на первый взгляд это незаметно.

Ральди не была вполне согласна с ним; Платон заговорил об индивидуальном восприятии, затем речь перешла на театр, который он очень любил. Когда я сказал, что предпочитаю кинематограф, и Платон, и Ральди посмотрели на меня с неодобрением.

– Как ты можешь даже сравнивать эти вещи? – сказала Ральди.

– Не кажется ли вам, мой друг, – сказал Платон, – что некоторая склонность к парадоксам, которую я замечал у вас и раньше, на этот раз увлекает вас на опасный путь?

Был поздний час, прохожих становилось все меньше, и на ярко освещенной террасе кафе, окруженной бледнеющим и удаляющимся светом тротуарных фонарей, который, в свою очередь, смешивался с лунными лучами, мы остались одни, остальные уже ушли, – и я подумал об удивительной неправдоподобности этого разговора, участниками которого были проститутка, алкоголик и ночной шофер. Но и Ральди, и Платон продолжали говорить

с прежней непринужденностью, и та последняя степень социального падения, в которой мы все находились, давно стала для них привычной и естественной, и, может быть, в этом презрительном примирении с ней, вернее, в готовности к этому примирению и заключалась одна из главных причин их теперешнего состояния. Мы расстались с Ральди – Платон опять поклонился и снял шляпу – и по пустым улицам пошли пешком на Монпарнас, недалеко от которого мы оба жили.

– Вы слышали когда-нибудь о Ральди? – спросил я Платона.

– Да, конечно, – сказал он.

– И вы не поразились, увидя ее в таком состоянии?

На его неподвижном обычно лице появилась улыбка. Он был совершенно трезв, и его разговор очень выигрывал от этого в связности и логичности, хотя тот абстрактный и книжный его характер, к которому трудно было привыкнуть, был еще более подчеркнут, чем всегда. Со стороны получалось впечатление, что он читает наизусть отрывки из ненаписанного трактата, – именно эта отвлеченность его речи создала ему в кафе, где его собеседники были чаще всего простые люди, репутацию сумасшедшего.

– Сравнительный метод, – сказал он, – во взгляде на различные состояния одного и того же человека в разные периоды его жизни есть один из важнейших элементов, почти непогрешимый критерий практического суждения. Если мы умеем удержаться от неизбежно напрашивающихся легких эффектов, имеющих свою бесспорную ценность в литературе, но абсолютно недопустимых в построениях бескорыстного суждения, то результаты такого исследования почти всегда бывают плодотворны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.